

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	9
Часть первая. КОХАНЧИКИ	14
Часть вторая. ВИТРУКИ	67
Часть третья. МЕТАМОРФОЗЫ.	121
Часть четвёртая. ДАДА И NET NET	171
Часть пятая. ОДЕКОЛОН	231
Благодарности.	315

*Маме и отцу,
с благодарностью и любовью*

ПРОЛОГ

Как ни прочен был пограничный пояс, сберегавший целомудрие страны Айкиного детства, сказать, что её жители были вовсе лишены возможности *видеть мир*, было бы несправедливо. Шестнадцать процентов (и шесть в бесконечном периоде) всей земной суши заключили в себе, как фрагмент голограммы, подслеповатую копию Северного полушария, будто бы немного искажённую оптикой оконного стекла, не мытого с прошлой весны. Но и сквозь брызги вечного бездорожья, за потёками масляной краски — пяти, много семи казённых оттенков — черты оригинала смутно распознавались. Необходимый минимум пищи поддерживал воображение в хорошей гимнастической форме, цвета и детали оно вдохновенно достраивало само, балансируя иногда на самой грани фантазмагии.

Игровое поле простиралось далеко за горизонт во все четыре сказочные стороны. Имелся Восток — Средний и Дальний. Какой-никакой, а европейский Запад с его небогатой кирпичной готикой, сносно игравшей при случае роль заграничной кинонатуры. Не бог весть какое зрительное усилие — только прищурься получше — требовалось, чтобы различить джекклондоновских героев среди коренных обитателей Крайнего Севера. Лирическую партию Средиземноморья исполняли, и не без шарма, республики Закавказья, и приморские субтропики, в отсутствие настоящих, *потусторонних* тропиков без приставки, в своём амплуа универсальных “жарких стран” смотрелись вполне себе убедительно.

Море же, главное южное Море, было и без всяких оговорок настоящим — прохладным и тёплым, сердитым и ласковым, изумрудным и голубым, с седыми от соли и древности гребнями — словом, исчерпывающим собой весь спектр представлений о том, каким оно должно быть. Ещё одно море, поменьше, словно бы запасное, про чёрный день отгороженное полуостровом от основной акватории, лишь оттеняло её драгоценность. На Приазовье Крым поглядывал свысока, как на собственную окраину, но

и в ней, как во всякой окраине, отыскивалась при желании своя диковатая, захолустная притягательность. Там где-то, в дремотной глухомани, томной и пахучей, как гроздь “изабеллы”, у берега Молочного лимана, в местечке *Богатир*, не успевшем ещё забыть своего прежнего, конского и звёздного имени Алтагир — “Шесть Лошадей”, — в детстве гостила у бабушкиной родни Айкина мама. Было это всего однажды; лето, последнее перед школой, выдалось сонное и тягучее от безделья, и вряд ли бы Айке стало о нём известно, если бы не одно крошечное происшествие, случившееся незадолго до отъезда мамы в Мукачево.

Время ковыляло к назначенному дню на полусогнутых, словно болотная черепаха в поисках места для кладки. Внучка соседки вернулась к родителям в Харьков, единственная книжка, сборник древних мифов с кляксами шелковицы, исчитана была вдоль и поперёк. Скуку скрашивал пляж. Тропинка к лиману вела через редкий сосняк, вышколенный до медного звона скифским военным солнцем. Сбегая с пригорка, девочка оскользнулась на хвое сношенными за лето подошвами и, потеряв равновесие, неожиданно врезалась взглядом в другой, изумлённо вытаращенный в упор.

Словно не доверяя обведённым тушью очам, две пары крыльев надменно сморгнули и с театральным размахом раскрылись настезь. Тучный мотылёк из последней гордости дёрнулся ещё разок-другой и, ослабевший, вниз головой замер в сети паука-крестоносца. Смерть о восьми ногах скрывалась в засаде где-то поблизости, предвкушая свой брачный пир.

Маленькие откровения детства, которыми мать часто делилась с дочерью, перемежая их к месту объяснительной мифологией и биологической латынью, туго связались в Айкиной памяти с её собственными, сообщая им дополнительное измерение. Всё, что её окружало с первых лет жизни, имело причину и имя, и она верила, что, овладев в совершенстве этим живым словарём, сможет прочесть весь мир как одно большое иллюстрированное повествование.

*Saturnia pyri**. *Araneus diadematus***.

* Павлиноглазка грушевая, или большой ночной павлиний глаз (*лат.*). Имя *Saturnia* указывает на Персефону-Прозерпину, богиню плодородия и внучку бога Кроноса-Сатурна, покровителя земледелия. По своей функции Прозерпина — “высший Сатурн”.

** Паук-крестовик (буквально: паук с диадемой) (*лат.*). Сценка с павлиноглазкой — проекция мифа о похищении Персефоны богом Аидом. Юную богиню, собиравшую цветы в обществе океанид, он приманил полем цветущих нарциссов. Вырвавшись из бездны в колеснице, запря-

ПРОЛОГ

Могучее чешуекрылое стряхивает в траву зеркальный шарик росы, успевающий перед тем, как разбиться вдребезги, отразить и его самого, бьющегося в паутине, и худенькую зеленоглазую девочку в лаковых босоножках, и полусферу доступного зрению мира в его уникальной, лишь данной секунде свойственной комбинации. Этот кадр, несомненно заёмный, стал одним из тех первых узлов, вокруг которых нить Айкиной жизни начала сплетаться в единственно возможную композицию индивидуальной судьбы — судя по многим приметам, кем-то заранее предусмотренной.

жённой чёрными конями, Аид унёс Персефону в своё подземное царство. Один из иконографических атрибутов этого бога — волшебный венец-невидимка, выкованный Гефестом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОХАНЧИКИ

I.

Айкина мать появилась на свет к вечеру предпредпоследнего дня 1952 года так тихо и осторожно, будто стеснялась кому-либо причинить лишнее беспокойство, подавно же — расстроить планы собственной матери, которая помыслить не могла оставить мужа в праздник за пустым столом; сияющую чистоту она позаботилась навести ещё до первых схваток. Дата рождения, указанная в бумагах, оказалась, однако, тремя днями позже. Дежурная регистраторша загса Мегринского района, толстая полугречанка-полуармянка, тут же прикинула, чем бы уважить младшего лейтенанта в ладно пошитой шинели, прибывшего к ней ещё затемно в первый приёмный день нового года. Старая дева под пятьдесят, она просидела за канцелярским столом весь

свой незадавшийся женский век, выписывая образцово-безликим почерком акты гражданского состояния. Особенно ей польстила та доверительная застенчивость, с которой он спросил её совета: *вам нравится имя Тоня?* — и то, как заговорщицки улыбнулся, кивая в ответ на её одобрительную оценку. Ничего не сказав, она щедро скостила новорождённой лишний годок. Усатую парку* и впрямь звали Ноной. Цену своему маленькому могуществу она отлично знала, хотя и употребляла его лишь изредка и исключительно бескорыстно, как если бы опасалась утратить волшебный дар, посланный ей в утешение за одиночество и бездетность.

Младшего лейтенанта звали Илья Коханчик. Уже почти год он служил на иранской границе, куда отправился без раздумий сразу после разрыва с невестой, заподозренной им в неверности. Через месяц или около того, возвращаясь со службы после дежурства, он вдруг увидел горящий в окошке его холостяцкой квартиры свет. То, что у них на заставе именовалось “служебной квартирой”, было, по сути, саклей — приземи-

* Парки — три сестры, богини судьбы в древнеримской мифологии. Нона прядет нить человеческой жизни. Децима вынимает жребий, определяя судьбу. Морта, перерезая нить, завершает жизненный путь.

стый каменный домик под плоской крышей: комнатка с печкой и кухонькой в закутке. На секунду он замер, осознавая, что в следующий шаг, которыми люди в силу привычки измеряют непрерывно текущее время, укладывается окончательное решение его судьбы, чьё русло отныне будет уже неизменным. Это мгновенное осознание не успело вызвать в нём ни испуга, ни удивления — только короткий вопрос, который он задал себе самому и, выдохнув, словно со стороны, услышал ответ — как будто сыграл в орлянку. Толкнув осевшую дверь, Илья ступил сапогом на шерстяной половик с домоткаными розами, только-только расстеленный на сыроватом выскобленном полу. Его тесная комната тихо светилась от радости, даже казалась просторнее, точно, вставая ему навстречу, распахивала объятия. Это было совсем незнакомое чувство: его ждали дома. Стены сияли свежей побелкой, пахло извёсткой, горячим борщом и выглаженными рубашками. Неделю они прожили под одной крышей, не обменявшись ни словом, а на исходе второй поехали в загс подавать заявление.

2.

С самых первых дней их неразлучной жизни он взял за правило с ней не спорить. Чаще соглашался, отдавая должное её житейской сметке. Не соглашаясь, молча делал по-своему, с чем, в свою очередь, ей тоже пришлось мириться. Так было и с именем дочки, когда, заглянув в свидетельство о рождении, которое он думал припрятать на первое время в планшет, где хранил документы, Тамара увидела запись: Коханчик *Антонина Ильинична*, 1 января 1953 года, с. Мегри, — вместо ожидаемого *Ванда*, звучавшего так таинственно и победно. Сперва он сказал, вспомнив очень кстати про трофейный аппарат на письменном столе, что регистраторша, мол, отвлеклась на телефонный вызов и по ошибке вывела не ту букву, и что ему было делать: бланки все номерные. Потом — что *Тоня* созвучно её собственному имени, которое у него вырвалось от волнения. Она, разумеется, не поверила, но прекратиться с ним было без толку, как об стенку горох. Тоня так Тоня, что ж теперь делать.

Своего имени Тонина мать не любила с детства. Томка! Разве козу назвать. Полная форма — Тамара Демьяновна Плужник — была не намного лучше. Красивая, должно быть, на сторонний

слух девичья фамилия сходу выдавала крестьянское происхождение отца-украинца, и она рада была поскорее её сменить.

Хохлушкой она, впрочем, называла себя с осознанной значимостью: не западенка, но и не кацапка, всё стерпящая, в обиду себя не даст, за словом в карман не полезет и на своём настоит, чего бы ни стоило, но ведь зато не хозяйка, а золото, чистюля каких поискать, а в остальном та же русская. Её речь на втором, равноправном родном языке — округлые фразы, с той же, что и во всём остальном, аккуратностью завершённые, — правильная и чистая, очень естественно перемежалась украинскими словами. Занятая своими мыслями, она без запинки могла перейти на первый, отмечая почти безотчётно какое-нибудь простое текущее наблюдение: *яка запашна троянда*, — и, поравнявшись с оградой сада, где вспыхнула майская роза, заботливо уточнить: *ох ты, шипшина — дивись, яка гарна!* С матерью она говорила по-украински до самой её смерти, уже в новом веке, в другой стране, когда забрала её, овдовев, в Москву из Кривого Рога. Русский язык баба Паша, Прасковья Дорофеевна, к старости позабыла, зачем-то припомнив польский, на котором никогда, кроме как в детстве,

толком и не говорила ни с кем, за исключением матери, бабы Домочки, давным-давно покойной Домны Адамовны. О раскулаченном Домнином муже памяти в семье не сохранилось, так что самые отдалённые Айкины сведения о предках на ней и обрывались. Своими польскими корнями Тамара Демьяновна дорожила, мечтая оставить их гордый след в имени дочери.

Тамарин отец не вернулся с войны и считался пропавшим без вести. Где-то на периферии семейного мифа маячил обелиск братской могилы с бесконечными столбиками имён, а в начале восьмидесятых стали вдруг доходить слухи, не получившие, правда, никакого доказательного подтверждения, что Демьян попал в плен и выжил, а фамилию, пользуясь послевоенной неразберихой, сменил на Плужников, переписавшись русским, и что у него почти сорок лет другая семья. Незадолго до этих сплетен Тамаре приснился сон. Будто бы она, как есть пятидесятилетняя, ранней весной приезжает в их старый дом в Кривом Роге, и вся семья выходит её встречать. Мать и два брата тоже как есть, в своём нынешнем возрасте, только отец молодой, как в начале войны. И отчего-то все четверо вышли во двор босые и встали рядом под знакомым ей с детства

большим абрикосовым деревом, густо покрытым цветами. И тут она замечает, что ступни у отца почерневшие, с изжелта-серыми обломанными ногтями, и пальцы все скрючены, как у глубокого старика. *О то ж я, наверно, последней умру,* — сделала она спокойное заключение — и как в воду глядела.

Как бы там ни было, в последний раз с отцом они виделись перед отправкой на фронт, в Нижнем Тагиле, куда был эвакуирован Криворожский металлургический комбинат, на котором работал Демьян. Из семьи он ушёл ещё до войны и жил у любовницы, квартировавшей в том же бараке, но аттестат в 43-м, когда с него сняли бронь, оформил на законную супругу и детей. Три месяца спустя пришло извещение о пропаже без вести. Пенсию как за погибшего бабе Паше так и не дали, замуж она больше не вышла и вырастила одна своих троих погодков: старшую дочь и двух её братьев, любимца Вадима и нелюбимого Анатолия, единственного из детей, кто пошёл не в отца, а в неё — и жестокатым недобрый взглядом, и скрытным характером, и сухопарой, необаятельной внешностью. Сыновей ей пришлось хоронить одного за другим с разницей в десять лет — оба, сначала любимый младший, потом нелюбимый

средний, умерли от рака лёгких, один в пятьдесят, другой — не дожив всего месяц до шестидесяти одного.

3.

Илья и Тамара встретились в мае 1948 года в Кривом Роге, где оба жили — она с матерью и братьями, он, окончив с отличием семилетку, сам по себе. Ему исполнилось девятнадцать, ей ещё не было восемнадцати. Отец его до своей гибели, а лучше сказать, исчезновения, потому что о судьбе Леви Абрамовича Коханчика в доме никогда не упоминали, был метрдотелем лучшего в городе ресторана. Мать, баба Мотя, Матрёна Петровна, повар шестого разряда, после войны вышла замуж во второй раз и переехала с мужем, кадровым офицером, в Гродно по месту его службы. Тёмная шатенка в крупных изюминах бородавок, с монументальной причёской, незыблемой в тридцать, и в пятьдесят, и в семьдесят лет, судя по торжественным фотопортретам, смолоду страдала базедовой болезнью.

Ни о семье, ни о детстве, ни о военном времени Айкин дед говорить не любил. Когда до-